

ГАЛИЯ АЛЕЕВА



ЗА КАДРОМ

РАССКАЗЫ

НЕ ПУЩУ К ХЕМИНГУЭЮ

1936, Флорида, Ки-Уэст

Тёплый влажный воздух заполнял собой утро. Я вдыхал его и становился ленивым и спокойным. Он не был свежим и пробуждающим, нет — он обнимал, словно любимая женщина, которая уговаривала полежать в постели ещё немного.

Стоя на балконе нашего дома, я смотрел вдаль — в то место, где восходило солнце. На рассвете оно ещё ласковое и многообещающее, но стоит ему показаться полностью, как его лучи наливаются коварством, а к обеду они жарят с такой силой, будто хотят испепелить твою душу. Солнце превращается в женщину, которая нежно любила тебя когда-то, но озлобилась за то, что ты ушёл к другой.

На юге всё кажется женщиной и имеет её характер. Особенно, *la mar* — море. Некоторые местные говорят по-испански *el mar* — в мужском роде. Для них *el mar* — соперник, которого нужно одолеть. Я же могу относиться к *la mar* либо как к прекрасной взбалмошной особе, либо как к дающей жизнь матери, либо как к разрушающей ураганом ведьме.

Хотя на самом деле это пролив, соединяющий Мексиканский залив и Атлантический океан. В любом случае это огромная сила, от настроения которой здесь все зависят.

АЛЕЕВА Галия Мокаддэсовна родилась в городе Кыштыме Челябинской области в 1990 году. В 2012 году окончила факультет журналистики Челябинского государственного университета. В 2015 году переехала в Москву и работала корреспондентом в научно-популярных программах (НТВ, Наука, Москва 24). В данный момент автор, сценарист познавательных и документальных проектов на федеральных, международных телеканалах и в интернет-изданиях.

Я вошёл в дом и снова прилёг рядом со своей женой Полин. Она спала, её волосы растрепались по подушке, а из-под ночной рубашки выглядывала ключица. Я слушал её дыхание, и мне казалось, что я никогда не смогу разлюбить её. Вскоре я стал размышлять о том, стоит ли сейчас сесть за печатную машинку, как я обычно делаю, или сначала прогуляться по острову. Что-то манило меня пройтись по улицам Ки-Уэста, хотелось взять в руки блокнот и писать карандашом, а не набивать текст на машинке.

Чтобы встать с кровати, пришлось потревожить котёнка. В какой момент он успел залезть на одеяло, я даже не заметил. Этот маленький пушистик превращает меня в мальчишку, которому просто хочется гладить котика и слушать, как он мурчит. И только чучело головы африканской антилопы с укором смотрит на меня со стены, напоминая, что вообще-то я — охотник.

Каждый раз, когда запинаясь о кота ненароком, вспоминаю капитана Стенли Бекстера и тот день, когда он подарил мне это странное светлое существо. А оно и впрямь оказалось странным — с шестью пальцами. Кто же дарит кота? Это ведь ответственность. Я скривил рот, когда он принёс мне его. Но Стенли не собирался отступать:

— Да, брось, Хэм, он плыл со мной из Европы! Он многое повидал! Почти как ты. Считаю, что он Хемингуэй среди котов, только писать не умеет!

Котик посмотрел на меня так, что я размяк. Помню, я даже сам себе не поверил. Но руки уже тянулись, чтобы погладить его. Так шестипалое создание получило в распоряжение меня, мой дом и всю мою семью.

— Кис-кис, Сноубол, хочешь молочка?

Да, snowball был бы в такую жару очень кстати. Я дал котику попить, оделся и вышел из дома.

Всё-таки, жара на Ки-Уэсте совсем не такая, как в Испании или в Африке. Я спускался к улице с кафетериями, и было настолько тихо, что я, наконец, понял, чем именно она отличается. Здесь, на этом малолюдном острове, почти нет звуков. Только шум *la mar* и пение птиц.

К воде спускаться мне не хотелось, я будто в полусне шёл по городку и разглядывал, как торговцы выставляют на витрины выпечку и десерты. Вдруг мне вспомнилось, как мы жили с моей первой женой Хедли в Париже. Какими голодными и счастливыми мы тогда были. Одно время на такие витрины мы только облизывались. И хотя я никогда не тяготел к сладостям, сейчас мне захотелось отдать дань тем молодым годам, зайти и съесть на завтрак что-нибудь из местной кухни. Меня, как ребёнка, дразнил лаймовый пирог со взбитыми сливками, покрывающими песочное тесто. Сливки были взбиты так, что казались взбесившейся морской пеной, из которой вот-вот выйдет Афродита. Я уже пробовал *Key lime pie* до этого и знал, что меня ждёт кисло-сладкая игра вкусов. Открыв дверь кафетерия, я, наконец, взбодрился — меня окутал аромат свежесваренного кофе.

— Как поживаете, сэр? — обратился ко мне мужчина за стойкой. Его искренняя улыбка украшала и молодила его смуглое лицо. Хотя он и не был стар, но его кожу уже покрывали мелкие морщины, которые в этом регионе у многих появляются рано из-за беспощадного солнца.

— Всё хорошо, спасибо! Будьте добры, лаймовый пирог. Он ведь из местных лаймов?

— Обижаете, сэр. Ещё моя бабушка готовила этот пирог только из того, что растёт здесь! Откуда же мы возьмём другие?

— И правда.

— Будете что-нибудь пить?

— Чёрный кофе, пожалуйста.

Я расплатился и сел за столик так, чтобы видеть входящих. Но тут же меня перестали интересовать новые посетители — прямо передо мной боком сидела девушка. Я не заметил её сразу, должно быть, она вошла, когда я делал заказ. Мне не хотелось отвлекаться на неё от моей задачи — я ведь планировал сделать в блокнот заметки для нового рассказа. Но ничего не мог с собой поделать, мой ум уже полностью захватила незнакомка. Никто в заведение больше не заходил, так что я разрешил себе немного понаблюдать за

ней. Кофе на её столике ещё не появился, а она что-то искала в сумочке. Рядом со стулом стоял чемодан, значит, она только что приехала. Наверное, туристка из Нью-Йорка, подумал я. Её светлые волнистые волосы аккуратно лежали на плечах, на её тонкой фигуре идеально сидел деловой костюм со строгой юбкой, а туфли были на каблучке, чуть выше дозволенного для утреннего кофе.

Мне принесли пирог, я попробовал кусочек, но из-за незнакомки совсем забыл, что хотел насладиться его вкусом. Да и попытки вернуть себя к записи заметок я тоже оставил. Теперь я думал только о том, с кем приехала эта молодая женщина, для чего и надолго ли? Тут она поднялась и направилась к стойке делать свой заказ. Её взгляд с любопытством скользнул по мне. Я по инерции кивнул. Возвращаясь с кофейной чашкой в руках, она подошла ко мне и остановилась. Я взволновался.

— Мистер Хемингуэй?

— Да, доброе утро.

— Слышала, что вы здесь, но не ожидала увидеть в первые же часы после приезда. Я — Марта Гэллхорн, журналистка.

— О! Какое приятное и неожиданное знакомство! Присядете?

Я отодвинул стул и продолжил:

— Вы здесь по работе или отдыхать?

— Отдыхать.

— Читал ваши репортажи о войне и сборник рассказов о Великой депрессии... как же он называется... “Бедствие, которое я видела”? Это великодушные работы! Местами они обжигающе правдоподобны.

— Спасибо. Но, пожалуй, они не встанут в один ряд с романом “И восходит солнце”. Конечно же, вы читали газеты, слышали, о том, как он набирает популярность?

— Да, до меня доходят слухи. Вам, значит, понравился роман о потерянном поколении? Что думаете об этом? — Я немного иронизировал, ведь прекрасно знал, что мой роман публика приняла на ура.

— Потерянное поколение — это спорно. Я пока не определилась... Но из того, что в этой жизни видела я... Я могу полностью согласиться с тем, что война способна уничтожить человеческое в человеке. Не в каждом, но почти во всех. И найти себя после этого им трудно, этим бедным молодым мальчикам. Война забирает у них жизнь, даже если оставляет в живых. Только давайте не будем об этом больше, мне хотелось хоть на несколько дней забыть о том, что пришлось видеть, работая над своими репортажами.

— Полностью согласен. Хуже войны ничего нет. Хотя именно об ужасах и нужно рассказывать, чтобы предотвратить их в будущем.

— Как вам, кстати, пришла в голову эта гениальная фраза — о потерянном поколении?

— По правде сказать, она принадлежит не мне. И это обозначено в эпиграфе.

— Действительно? Простите мою невнимательность.

— Это сказала Гертруда Стайн — мы общались с ней, когда я жил в Париже с первой супругой. Она упомянула это вскользь, в качестве ругательства, когда рассказывала о том, как молодой механик, пробывший год на фронте, не смог починить её “форд”.

— Какая она, Гертруда Стайн? Мне не повезло быть с ней знакомой.

Я рассказал ей о том, как жил в Париже, общался с Гертрудой, Фицджеральдом и Пикассо. Она — о том, как беседует с Элеонорой Рузвельт. Её пацифистские идеи затронули моё сердце, и мне показалось, что мы непременно должны вместе поработать или что-то в этом роде...

Пока мы общались с моей новой знакомой, я поймал себя на мысли, что совсем не флиртую с ней, а она — со мной, хотя симпатия между нами возникла мгновенно. Я думал, что со стороны в этом утреннем кафе мы, возможно, походим на красавицу и чудовище: она — опрятно одетая молодая женщина, и я — небритый и слегка помятый с утра громил. Но особого значения я этому не придал.

К своей жене и сыновьям я помчался как-то по-новому окрылённый. Ох, как я испугался своей заинтересованности молодой журналисткой — именно это чувство гуляло по моей груди, когда я встретил Полин, будучи женатым на Хедли. Тогда это была опасная встреча. И вот опять...

Чтобы развеять свои страхи, я решил сразу рассказать о встрече Полин. В итоге получилось так, что весь день я болтал о другой женщине. Она заметила это. Я видел, как в ней начинает подниматься злость и ревность, но она сдерживала себя. И я в очередной раз понял, как сильно люблю её, и должен всеми силами сохранить этот брак.

2009, Флорида, Орlando

— Раз уж мы решили ехать на машине до Ки-Уэста, может, остановимся в Майями? — спрашивал молодой американец Мэтью свою недавно эмигрировавшую из России жену Анастасию.

— А что, это по пути? Так можно? — Настя округлила глаза, как ребёнок. Всё, что она слышала о Майями в Москве, казалось недоступной сказкой из телевизора: рай для богачей и сладкая жизнь. Про Ки-Уэст, кстати, она вообще ничего никогда не слышала.

— Да, мы ездили с моими родителями туда в детстве, и каждый раз останавливались где-нибудь по пути. Дорога же длинная, ехать шесть часов. Просто мы могли бы выбрать другой город... подешевле. Но раз ты ни разу там не была, то можем раскошелиться.

Она подумала о том, как странно — даже для самих американцев Майями был дорогим городом. И бросилась ему на шею, чтобы обнять и расцеловать.

— Конечно, я хочу, я всё хочу!

Ей казалось, будто выкрутили на максимум яркость экрана смартфона — о существовании таких насыщенных цветов и разнообразия оттенков глаз до этого просто не знал. Почему-то даже трава другого зелёного цвета. О красках океана и говорить нечего. Да, ноги утопают в обжигающем песке так же, как и на любом курорте, но такого тропического воздуха больше нет нигде. Природа будто вылила сюда концентрат плодородия и разнообразия со всей своей любовью к жизни.

Флорида — тихое место, куда американцы мечтают переехать жить на пенсию. Здесь не бывает шумных тусовок, нет модных заведений, и вообще, развлекаться слишком жарко. “Лето во Флориде” звучит для школьников из других штатов так же, как “лето у бабушки в деревне” для россиян. Хотя есть во Флориде Диснейленд в Орlando и шикарные пляжи.

И ещё — Ки-Уэст.

Автомобильная трасса из Майями до Ки-Уэста — это семимильный мост к островам Флорида-Кис, который пролегает между Атлантическим океаном и Мексиканским заливом. Молодая пара ехала по нему.

— Я не знаю, есть ли нечто более потрясающее, чем это!

Настя восхищалась пейзажем каждую секунду, а Мэтью вёл своё авто по дороге, знакомой ему с детства. Настя помахивала путеводителем, в который она время от времени мельком поглядывала, боясь упустить из вида чудо-море. Если можно, она бы выпила его яркие краски глазами.

В буклете рассказывалось, что Ки-Уэст — самая южная точка США, дальше — Куба, в честь этого на краю острова стоял огромный красный буй, рядом с которым фоткались туристы. А ещё все фоткались рядом с дорожным обозначением “0 mile”. Среди странных фото выделялась картинка с изображением изящного двухэтажного особняка в южном стиле. Надпись гласила “The Hemingway Home and Musiem”.

— Нам непременно нужно будет посетить дом-музей Хемингуэя, оказывается, он жил на этом острове! — засверкала глазами Настя.

— А кто это? — невозмутимо бросил Мэтью.

— Как кто? Это же американский классик, писатель. Ты читал “Старик и море”? Это такая новелла, она очень известная.

— Нам задавали в школе, но я не помню толком. Дай угадаю, там написано про старика. И про море. Так?

— Да. Очень остроумно ты заметил. Жаль, что ты не помнишь... А еще у него есть романы “По ком звонит колокол” и “Прощай, оружие”. Может, хотя бы фильм видел? Там про войну.

Он помотал головой.

— У него ещё есть про корриду в Испании, про охоту в Африке. Да про всё на свете, наверное! Нет? Ничего такого не читал? Я даже расстроена... Ну, ещё он говорил, что Париж — это праздник, который всегда с тобой.

— Извини, детка, в Париже я не бывал.

Настя вздохнула. Мэтью с улыбкой посмотрел на неё:

— И всё-то ты, русская, знаешь. Откуда? Я удивляюсь.

Пара недолго помолчала. Машин, направляющихся в сторону Кис, оказалось очень много, так что американский муж и его русская жена застряли в пробке. Она рассматривала фотографии дома Хемингуэя в интернете. Он читал статью о писателе в Википедии и искал краткий пересказ повести про старика и море. Его не оставляла мысль о том, почему он столько раз бывал в этом месте и ни разу не заходил в дом-музей.

Вдруг она выдала:

— Ты знаешь, когда я окажусь на том свете, я бы очень хотела отправиться в открытое море на рыбалку с Эрнестом Хемингуэем.

— Ничего себе заявление! — Теперь уже глаза округлил он.

— Для меня он в каком-то смысле архетип отца, понимаешь? Я читаю его романы, и мне кажется, будто он заботится о нас оттуда — из двадцатого века, заботится о нас своими текстами. И ещё мне страсть как хочется самой в какое-нибудь такое приключение с человеком, который знает в них толк. Ведь это крепкий мужчина, который застрелит всех врагов на войне, принесёт с охоты добычу, а потом ещё и историю классную расскажет, как дело было.

Поднимая глаза от экрана, Мэтью ответил:

— Ну, судя по тому, что о нём пишут и сколько раз он был женат, он бы не взял тебя с собой на рыбалку. Он даже меня бы не взял с собой — если только в качестве мальчика на побегушках. Тебе он, скорее всего, налил бы шампанское и пригласил весело покататься на лодке. И если бы ты поехала с ним, то я бы приревновал тебя к нему. Так что даже на том свете я ни за что не подпущу тебя к этому писаке.

НИКТО НЕ ДАЁТ ГАРАНТИИ

Шесть утра. Съёмочная группа из трёх человек с тяжёлыми кофрами телевизионной аппаратуры сонно ввалилась в узкий врачевный кабинет. В семь начнётся операция, которую нужно снять, а пока — время, чтобы собрать технику и осмотреться в отделении.

Руководитель ожогового центра детской больницы — ухоженная, стройная женщина, на вид около пятидесяти. Именно такой я видела её в сюжетах на разных телеканалах. Когда-то белокурые, а сейчас в основном седые волосы аккуратно собраны. Глаза прикрыты очками с затемненными линзами. Нитка жемчуга на шее и такие же белые капли в ушах. Врачевный халат. Уверенный мягкий голос. Полуулыбка. Я чувствую, что несмотря на вежливость, она не рада нашей съёмочной группе:

— Вы, наверное, не совсем понимаете, куда приехали. Здесь лежат дети с тяжёлыми травмами.

Я бодрюсь и стараюсь мило улыбаться — мне надо во чтобы то ни стало снять этот эпизод, поэтому я пытаюсь сгладить углы и настроить собеседника:

— Мы прекрасно всё понимаем! Я же сама вышла на вас, как на лучшего специалиста, вам ведь удаётся творить настоящие чудеса! Мы снимаем сюжет про новации в лечении ожогов для научной программы, и кто, если не вы, о них расскажет лучше всего!

Мой стелющийся тон не помогает. Она отвечает с ноткой раздражения:

— Как будто в медицине каждый день одни новации...

— Да-да, конечно, не каждый день, но зрители, как правило, не в курсе...

— Хотя знаете... у меня есть пациент, которого я удачно прооперировала много лет назад, он каждый год звонит мне в свой день рождения и благодарит за то, что мы его тут спасли. А я ему отвечаю: “Да забудь ты уже, прекрати звонить и живи своей жизнью”!

Я пытаюсь ухватиться, поддержать новую ветвь разговора:

— Какая замечательная история! Расскажите нам её на камеру?

Не отвечает. Вместо этого изучающе смотрит на меня и уточняет:

— У вас ведь утренняя познавательная программа?

— Да. Мы не про кровь и жуть, мы про радость бытия!

Я прекрасно знала, что выгляжу как наивная дурочка и что сморозила какую-то глупость. Но ничего не могла с собой поделать — я нервничала, и поэтому слова всё время были не те, не слушались и неосмысленным комком неслись вперёд.

— У нас по плану сначала запись интервью, потом операция. Вы же сегодня оперируете?

— Да. Пройдёмте в отделение реанимации, интервью проведём там.

Вида крови я не боюсь. Телевизионщикам приходится видеть раскрытые грудные клетки, вскрытые черепные коробки, части тела без кожи и тому подобное. Так что очередная съёмка в хирургии для меня была простым делом.

Я очень люблю разговаривать с врачами от Бога. Именно они способны сказать самые странные и одновременно прекрасные слова о людях и о жизни. Один кардиохирург однажды поделился со мной таким размышлением: “Вот на операционном столе человек, законченный наркоман. Но несмотря на это, его сердце остаётся красивым”. А один талантливый трансплантолог признался: “Я видел отца, который мог бы стать донором печени для своего ребёнка, но она была в ужасном состоянии — с ней нельзя жить, не то что кому-то пересаживать. Всеми виной — жирные жареные сосиски на ужин и любовь к пиву. Но всего за полгода правильного питания его печень восстановилась, и мы смогли пересадить её. Это удивительно!” А вот крик души физиотерапевта: “Многие недооценивают фразу “Движение — это жизнь”. Делайте банальную гимнастику, друзья. Если вы не можете бегать — ходите, если вы можете только лежать — делайте дыхательную гимнастику, если вы парализованы и можете только моргать — делайте зарядку для глаз!” А вот что говорил другой врач: “Здоровая прямая кишка — такая красивая! Она же светится и переливается перламутром изнутри! Когда я вижу такое на колоноскопии, душа поёт!”

Эти врачи изменили моё отношение к телу и физиологии. Они всегда полны сил и вдохновения. Я поняла, что невозможно заставить себя быть врачом — такую работу можно делать только по желанию. Поэтому я с придыханием ждала новой встречи с женщиной-хирургом детского ожогового центра.

Мы выходим из кабинета и идём по коридору отделения. Вместо привычного запаха стерильности — почему-то запах ладана. Вместо анатомических плакатов о болезнях — на стенах иконы и детские рисунки. Когда мы доходим до реанимации, я обращаю внимание на то, что она оснащена по последнему слову техники — всё оборудование выглядит современным и дорогим.

Я не сразу замечаю маленького мальчика на огромной кровати в большой пустой палате. Но когда врач указывает на него, мне становится не по себе — настолько беспомощным выглядит его забинтованное тело, трубками подключённое к разным аппаратам. Перед ним свисает планшет, по которому показывают мультики. Значит, он в сознании. Он не может двигаться, не может говорить, не может даже дышать самостоятельно — только смотреть.

Моё сердце прилипает к спине изнутри, я перестаю чувствовать, как оно бьётся. Я замираю. Весь мир сжался до одного желания — обнять незнакомого мне ребёнка. Но сделать это невозможно. Отворачиваюсь. Смотрю в телефон. В заметках записаны мои вопросы для интервью с врачом. Отпускает. Сердце снова включается, голова остывает, мысли яснее.

Группа работает чётко, каждый знает, что делать: оператор настраивает камеру, звукорежиссёр готовит микрофон. Мы начинаем интервью. Я прошу врача рассказать об ожоговом центре, в котором мы находимся.

— Вот тут у нас пациенты возраста двух с половиной лет. Поступил с девятию пятью процентами ожогов. Ещё лет двадцать назад выживаемость в таких случаях была менее одного случая на сто, сегодня она значительно выросла — до трёх случаев из ста, так что мы далеко продвинулись!

Она говорит уверенно и даже гордо. Но тон её всё равно мне кажется ехидным. Она издевается надо мной?! Это разве “далеко продвинулись”?! Три процента всего?! Мне хочется кричать. Чем занимается ваша хваленая наука?! Неужели нельзя что-нибудь поэффективнее придумать ради детей!

Мой взгляд снова приковала кушетка — из перемотанного бинтами тела выглядывают только глаза, они блестят яркими звёздочками и как будто смотрят только на меня. Я вижу детскую чистоту и незаслуженное, невозможное, непереносимое страдание. Я выскакиваю из палаты прямо во время интервью, останавливаюсь возле окна в коридоре и рыдаю. Первый раз за всё время работы журналистом.

— Вам нужен нашатырь? — спрашивает врач, вышедшая следом, и кричит в сторону палаты:

— Медсестра!

— Нет, всё в порядке. Я сама от себя не ожидала, что вдруг расплачусь, я никогда, никогда до этого... — Но меня накрывает новый приступ рыданий.

Я захлёбываюсь слезами. Через несколько минут, собираюсь с последними силами и снова захожу в палату, чтобы продолжить интервью.

— Как вы находите в себе силы, чтобы тут работать, чтобы оперировать таких маленьких детей?

— Когда ребёнок выздоравливает, и я вижу его улыбку — это меня переключает. Я всего два раза плакала на работе. Первый, когда умирающий ребёнок на операционном столе взял меня за палец. Второй...

Жуткий хрип сбивает с разговора. Врач объясняет:

— Медсестра должна сделать отсос мокроты ребёнку. У малыша пневмония на фоне ожога дыхательных путей. К сожалению, такое часто бывает. Из-за этого сам он дышать не может, в этом помогает ему аппарат. Только вот мокроту он не может откашлять. Когда жидкости в лёгких становится слишком много, ребёнок начинает хрипеть, а в трубке появляется звук кипящей жидкости. Тогда медсестра, которая всегда дежурит в палате, подходит и высасывает гной шприцем.

Когда малыш задышал нормально, я спрашиваю:

— Что с ним будет?

Я жду, что врач мне скажет: “Он поправится”. Но вместо этого:

— Никто не знает, никто не даст никаких гарантий.

То есть неизвестно, сможет ли мальчик играть в машинки и собирать кубики. Сможет ли он вообще ходить, сможет ли он в принципе выписаться из этой больницы, просто остаться живым.

— Этот пациент находится у нас больше трёх месяцев. В деревенском доме, где он жил, произошёл пожар. Родители мальчика не пострадали, их там не было. Как не было их ни разу и здесь. Сначала я подумала, что у семьи нет средств на дорогу. Но у нашей больницы неравнодушные спонсоры, которые с большим состраданием относятся к сложным историям. Так что нашлись те, кто захотел оплатить билеты для матери, снять жильё рядом и выделить деньги на питание — только чтоб она могла навещать сына. Но она отказалась.

Я слушаю и не могу понять, от чего мне становится больнее, — от того, что увидела покалеченного ребёнка, или от того, что услышала, как его ещё и мать бросила.

Врач продолжает:

— Я научилась не осуждать таких родителей. Конечно, я прекрасно знаю, что в этой деревне произошло. Банальная история — алкоголь.

Я не сразу осознаю, что у меня снова текут слёзы.

После записи интервью я, оператор и звукорежиссёр переходим в стерильное хирургическое отделение для съёмки операции, которая должна нам показать те самые новации, которые сейчас применяются в лечении ожогов. Обычно журналисты любят здесь делать забавные фото в маске и медицинской шапочке. Но не сегодня.

Примерно через час в операционную привозят забинтованного мальчика, уже под наркозом. Заработала камера. Врачи приступают к операции. Сначала сняли бинты, и мы видим маленькое тельце, чёрно-красное, полностью обгоревшее, видим хрупкие тонкие ручки и ножки, которые очищают от гари, наносят какую-то мазь и накладывают повязки.

— Как правило, в таких случаях хирург снимает оставшуюся здоровую кожу, растягивает её и наносит на места, где она обгорела. Но на теле этого ребёнка осталось около пяти процентов здоровой ткани... Её нельзя снять и растянуть. Поэтому из неё выделяют специальные клетки — кератиноциты, из них создают питательную взвесь и наносят на повреждённую поверхность. Это и есть новая технология, которую вы приехали снимать. Снимайте! Снимайте! Что же вы не делаете крупный план?

Звукорежиссёру под пятьдесят, вроде бы, бывалый, но он падает в обморок. Я узнаю об этом, только когда операция заканчивается, выхожу и вижу его лежащим на кушетке. Его глаза мокрые от слёз, в руках ватка с нашатырём у носа.

Молодой оператор говорит, что чувствует себя нормально, через призму объектива всё воспринимается отстранённо.

А мне же кажется, что я себя вообще никак не чувствую.

— Чего такие хмурые?

Возле крыльца у редакции курят коллеги. Весёлые лица при виде нас делаются взволнованными, лёгкое гоготание и смешки прерываются. Я не курю и обычно всегда быстро прохожу мимо, чтобы не дышать табачным дымом, но сегодня задерживаюсь и обрушиваю на них всю тяжесть увиденного. Кто-то тут же приобнимает меня, кто-то делится своими трудными моментами, кто-то просто замолкает. Мы знаем, что каждый побывал в похожих ситуациях, некоторые — в гораздо более сложных.

— Надо научиться отстраняться. Нельзя сливаться со своими героями. Ты же просто делаешь свою работу. Не подключайся эмоционально, иначе тебя надолго не хватит, — говорит Вика, которая по первому образованию была психологом.

— Это нереально. Если отстраняться, то можно стать профессионально непригодным. Чтобы сюжет был живым и искренним, всё надо пропускать через сердце, — отвечает ей Костик, который перешёл в нашу программу из новостей.

— Вот поэтому я и начал курить! — добавляет с улыбкой бывший казённый Димон. Кто-то в ответ смеётся. Настроение в компании меняется и переходит в русло обычной беседы за сигаретами.

— И как? Помогло? — с ухмылкой спрашиваю я.

— Конечно! Теперь я борюсь с мыслями о том, что курево вот-вот меня прикончит, так что на другие переживания не остаётся времени!

Все громко смеются.

— Счастливые вы люди! Даже завидую вам — регулярно отдающимся в объятия вредной привычке, — я говорю намеренно с пафосом, мне кажется, что в такой обстановке это звучит комично.

С теми, кто докурил, мы поднимаемся в помещение редакции. Пока я общаюсь с ребятами, всё сложное забывается. Но лишь на некоторое время.

Когда я сажусь за компьютер, чтобы писать текст, мне кажется, что мигающий курсор на белом листе нервно дёргается. В сюжет должно войти несколько фраз про кератиноциты, общий план операционной и пятнадцать секунд из часового интервью, всего пятнадцать секунд из многодневной борьбы за жизнь. Я зажата в эти рамки и должна сосредоточиться.

Ближе к полуночи работа закончена, на сердце по-прежнему тяжело. Хочется пойти в храм, но он уже закрыт, я выхожу из здания и просто шагаю

вдоль Останкинского пруда до трамвайной остановки. В водной глади трепещет отражение телебашни. Я на некоторое время останавливаюсь и смотрю в него, и медленные движения волн наконец меня успокаивают. Я сажусь в пустой трамвай и под его убаюкивающее покачивание еду домой.

Спустя месяц хочется позвонить врачу и спросить, что стало с пациентом. Но я так никогда и не сделаю этого, потому что боюсь услышать ответ.

СЛЕДОВАТЬ ЗА СОБОЙ

Рим, Милан, Флоренция... Пока не побываешь в этих городах, трудно отличить один от другого по фотографиям. Все они выглядят одинаково: удивительными и далёкими. Я собиралась поехать в Италию, погостить у друзей и своими глазами увидеть великие памятники древнеримской культуры.

Но желанная поездка выпадала не на отпуск. Хотелось взять несколько выходных и совместить их с короткими ноябрьскими праздниками. Только как это сделать? Конвейер телепроизводства должен работать без перерыва. Переложить свои обязанности на кого-то нельзя — другие корреспонденты зажаты своими сроками сдачи материалов. Чтобы уехать, надо сделать один сюжет заранее, а учитывая плотный график работы редакции, мне может просто не хватить операторов.

Но рискнула, отправила руководству сообщение и начала пристально смотреть в смартфон в ожидании ответа, одновременно пытаюсь мысленно загибризировать генерального продюсера, чтобы он одобрил мою просьбу.

Я ещё ни разу не была в Европе и поэтому предвкушала поездку всеми фибрами души. Но по правде сказать, мне на Европу не хватало денег. Даже несмотря на то, что я полгода копила. Моя зарплата по московским меркам откровенно мала. В обществе витает миф о больших деньгах на ТВ. Может, у кого-то они и есть, но корреспонденты, операторы, продюсеры и люди технических специальностей получают немного. Конечно, если сравнивать с зарплатой учительницы в деревне, наверное, будет казаться, что много. А если сопоставить с зарплатой айтишника — кот наплакал.

Чтобы помочь мне встретиться с прекрасным, итальянские друзья предложили несколько дней пожить у них. Я не могла поверить в то, что всё-таки увижу шедевры европейской цивилизации воочию. Оставалось только дожидаться разрешения на мини-отпуск.

Мне думалось о Колизее и о том, насколько жестокими могут быть люди, раз они строят целые стадионы ради кровавых зрелищ...

Тут мы приехали к зданию следственного комитета, чтобы снять сюжет о технологиях спецслужб. Коллеги очень скептически отнеслись к моей идее — мол, ну какие ещё могут быть технологии у наших ментов? Я же со своей детской непосредственностью надеялась на то, что они есть. Мне даже скорее верилось в то, что реально крутые разработки нам не покажут, но то, что их вообще нет, я признавать отказывалась.

Пока моя группа в коридоре готовила к съёмке оборудование, я сидела в кабинете у большого начальника, который хотел обсудить детали интервью. А точнее — выведать мои тайные намерения. Человек в погонах был очень обаятелен и проницателен, но я видела, что он боится вопросов не из обговоренного списка. Сначала я сказала, что с одной стороны переживать не о чем — мы же научная программа, которая хочет знать всё про технологии, и тут никаких подвохов быть не может. С другой стороны, мой долг задавать любые, в том числе неудобные вопросы, а право интервьюируемого — на них не отвечать. На удивление, такая формулировка не напрягла его, а вызвала уважение. Он предложил чашку кофе и принялся рассказывать об одном из расследований.

— Проблема была в том, что мы никак не могли найти голову пострадавшего. А оказалось, её силой взрывной волны закинуло под потолочную плитку. В общем, сначала мы нашли оторванную кисть руки и сняли отпечатки, но результатов ждать не пришлось. Когда голова была у нас, все стало ясно, мы его узнали. Но я вам это всё не для камеры рассказываю.

В дверь кабинета тихо постучал оператор. Всё было готово, чтобы начинать съёмки. После записи интервью большой начальник передал нас пресс-секретарю, который провёл меня и мою группу в лабораторию, где хранились все киношные шпионские штучки.

Там нас ждал мужчина в камуфляже — следователь. Если бы я встретила его на улице, то подумала, что это простой работяга: самое обычное лицо с добрыми ясными глазами, но что-то неуловимое в нём настораживало. Пригляделась. Да, мешки под глазами. Да, кожа красная. Да, седина немного пробивается. Кольцо обручальное. По возрасту — мне в отцы годится. Чему же в его лице я не могу дать названия?..

Пока я рассматривала его, он показывал, что находится в чемоданчике. Из всего содержимого, пожалуй, самое интересное — несколько моделей ультрафиолетовых фонарей. На камеру он объяснил:

— При ультрафиолете видны следы крови и других человеческих выделений, которые незаметны невооружённым глазом.

Вдруг после слов “следы крови и других человеческих выделений” вся съёмочная группа напряглась, лёгкость и задор, с которыми обычно снимается программа, испарилась. Когда интервью закончилось, камеры погасли, а ребята из съёмочной группы начали бодро собирать аппаратуру, я наконец-то спросила о том, что меня волновало больше всего:

— То есть ваша работа напрямую связана с тем, чтобы выезжать на место преступления, и вы постоянно видите весь этот...

— Что вы имеете в виду?

Следователь явно понимает, о чём я говорю, но он дразнит меня, он хочет, чтобы я сама произнесла это в слух.

— Я боюсь выразиться грубо или нецензурно...

— Выражайтесь как угодно, я уверен, это только грубым нецензурным словом и можно описать.

Я всё-таки попыталась найти слова:

— То есть вы работаете с адом на Земле? Выезжаете на место преступления, находите трупы, видите весь возможный ужас?

— Да.

В этот момент всё пространство в кабинете замирает. Ребята перестают складывать аппаратуру, все на секунду останавливаются и замолкают.

В искусстве часто принято романтизировать преступления. В книге складно рассказывается о том, как гениальный следователь, детектив, полицейский ловит маньяка. В кино идеально выстроенный кадр аккуратно иллюстрирует сцену убийства: в луже крови картинно лежит актёр. Но правда жизни показана в криминальных сводках. Точнее, её даже не показывают — всё, что может травмировать зрителя, — блюряют, то есть размывают.

— Так как же на самом деле выглядит работа следователя?

— Во-первых, тип преступлений, которые приходится раскрывать. Это поножовщины алкоголиков, бомжей, психов и других антисоциальных элементов. Во-вторых, трупы никогда не лежат красиво, они всегда отвратительны. Место преступления — это то, что ни один нормальный человек не хотел бы увидеть. В-третьих, психи — это никогда не гениальные Ганнибалы Лекторы, а, мягко говоря, крайне неприятные люди.

— Как же вы находите в себе силы для всего этого?

Его взгляд изменился, стал глубже. Через несколько он мгновений ответил:

— Просто надо любить свою работу.

Да, так спокойно и вдохновенно может ответить пекарь, цветочник или винодел! Но не следователь-криминалист! Я знаю архитекторов, журналистов, хирургов, учителей и других первоклассных специалистов, которые отвечают на этот вопрос так же. А тут — человек, который видит мёртвых, изувеченных, изуродованных, расчленённых людей, полуразложившиеся трупы, останки, море крови...

— А что вы рассказываете своей жене, когда приходите с работы домой?

— Сегодня расскажу вот что. Тест ДНК, на который мы отдали человеческие выделения, найденные на одежде потерпевшего, не дал результатов,

совпадений нет ни с одним подозреваемым. А это значит, убийца на свободе. И где ещё его искать, непонятно.

— Неужели вы дома так официально разговариваете?

— Жена у меня тоже следователь, только так мы и общаемся!

Когда заговорили о жене, атмосфера снова стала лёгкой. Мой оператор сказал, что со своей супругой разговаривает на рабочем сленге, и все принялись вспоминать забавные моменты из разговоров со своими жёнами и мужьями. А меня чёрт за ногу дёрнул: стало любопытно узнать, что там за дело, что за ДНК и убийца, поэтому я весело спросила:

— А потерпевший-то кто в этой истории?

— Это пятилетний ребёнок, одежда — его белье, а человеческие выделения... Вы точно хотите это услышать?

Я мотнула головой и заткнулась. Всех сковал ужас.

Перед тем как попрощаться со следователем, я, наконец, поняла, что меня смущало в его лице. Оно было заморожено. Без мимики и без морщин. При этом взгляд оставался добрым и открытым. В другой ситуации лицо, которое не выражает эмоций, может показаться мёртвым, но тут оно скорее сдерживало в себе все те чувства, которые приходится переживать на этой работе.

На время съёмки я всегда отключаю телефон, чтобы его звук случайно не испортил запись интервью. Сейчас, когда всё было закончено, мы выходили из здания и шли к машине, я взяла его в руки и увидела сообщение от генерального: “Да, можешь ехать”. Сначала я даже не поняла, куда ехать. Только через некоторое время вспомнила про Италию. Трудно представить себе более неподходящий момент для радостной по сути новости. Я хотела ответить ему: “Спасибо”, — но сначала открыла заметки на телефоне и записала важную для себя мысль: “Следовать своему призванию. Каким бы оно ни было”.

РАДИ ТРЁХ СЕКУНД В ЭФИРЕ

Останкинская телебашня — стройная, высокая и какая-то юная... Каждый раз — разная. В яркую солнечную погоду — почти прозрачная, лёгкая, как воздух. В пасмурную — опасная, как штык. В туман — невидимая.

Я сняла эту квартиру только потому, что меня вдохновлял вид из окна на телебашню. Он будто бы говорил об успехе. Я с восторгом смотрела на башню и первое время не могла поверить в то, что Останкино видно из моего окна. Вообще, мне везёт на шикарные виды. Из детской комнаты, где я росла, вид был на горы, озеро и лес, на закате солнце пряталось прямо под зелёным покрывалом уральских гор. А тут в Москве солнце поднималось и освещало саму Телебашню.

В этой съёмной квартире мне предстояло жить с хозяйкой Элеонорой — элегантной дамой семидесяти лет.

— Да нет, это не телебашня такая, это ты — стройная, высокая и юная. Ну, может, уже не юная, но ещё очень молоденькая! — говорила она мне с улыбкой.

Элеонора не вписывалась ни в какие представления о старушках. Ухоженная и модная, она обожала цветы, спорт и ходила на свидания чаще меня. Единственное, насчёт чего она переживала, — это фигура. Несмотря на скандинавскую ходьбу и плавание, она была круглой женщиной, а небольшой рост визуально добавлял крутлоты.

Её первой страстью были мужчины, так что иногда она отправляла меня в кино. И я знала наперечёт все кафе и кинотеатры, находившиеся поблизости. А второй страстью было телевидение. Поэтому, когда она узнала, что телевизионная корреспондентка хочет снять у неё угол, то чуть не взвизгнула от счастья. Оказалось, что она уже была на всех федеральных телешоу в качестве зрительницы и в свободное время ходила сниматься в массовке.

Элеонора с трепетом заносила мне в комнату булочки, когда я говорила, что работаю дома и мне нужно написать очередной сценарий. А воскресное утро мы обычно проводили вместе — она обожала расспрашивать меня

о телесъёмках, операторах и режиссёрах. На кухне варился кофе в турке, Элеонора выкладывала на блюда свежие сырники и расставляла посуду на кружевной скатерти. Такой у нас был уклад: она готовила завтрак, а я убирала посуду после него.

Мои истории, правда, редко соответствовали утреннему настроению. Когда я говорила о том, как иногда бывает страшно или противно, она морщилась, сочувственно вздыхала, а потом шутила:

— Ну, хочешь, я вместо тебя в следующий раз поеду на съёмки?

Тогда мы смеялись и меняли тему. А однажды она спросила:

— Скажи, а тебе когда-нибудь приходилось делать что-нибудь подлое?

Я посмотрела на острый шпиль телебашни, который безжалостно протыкал облака, и вспомнила один случай.

— По-настоящему подло я поступила лишь однажды.

Легкомысленные фонтаны на бульваре ещё не отключили, и казалось, будто лето закончилось только вчера. Хотя на самом деле стоял промозглый октябрь. Кафешки и рестораны ещё не свернули свои веранды, работали уличные обогреватели, люди за столиками кутались в пледы. Отовсюду слышался детский смех, курлыканы голубей и уличная музыка. И только жёлтые листья деревьев выглядели унывающими.

Ветер противным холодом прошибал насквозь, мёрзли открытые щиколотки и пальцы на руках. Вся съёмочная группа озябла. Иногда до нас долетали внезапные приятные тёплые порывы воздуха. Так бывает, когда в прохладном море вдруг ощущаешь тёплое течение. Так же и на этом осеннем бульваре: нечто будто прижималось к щеке ненадолго и ускользало.

Тот вечер врезался в память моим отвратительным, как я считаю, поступком. Я его спланировала от начала и до конца, реализовала, и я сама же от него до сих пор страдаю. Больше, уверена, никому он не принёс никаких неприятных ощущений. Ну, кроме моего героя.

Я говорю “мой герой”, имея в виду человека, который стал центральным персонажем сюжета в программе о технологиях и гаджетах.

У двадцатилетнего парня, который в тот день оказался в кадре, гаджет был вместо обеих рук. Биотические протезы. Никита прилетел в Москву из Ростова специально на съёмку вместе со своей невестой. Мы снимали сюжет с ним с самого утра. В интервью до этого он рассказывал о том, что, несмотря на увечья, девушка не отказалась пойти за него замуж. А ещё о том, что купить протезы парень из провинции не мог. Но компания-производитель предоставила их ему в обмен на то, что он будет рассказывать о том, какие они замечательные и удобные. Оказалось, что по игре на гитаре он не скупается, а вот по ощущениям, которые давали реальные пальцы рук, когда, например, гладишь девушку по волосам, — да. И его невеста, стоявшая за кадром, призналась, что его прикосновений, конечно, не хватает.

Никита показывал, как его дорогие иностранные руки здорово справляются с задачами, которые ставит перед человеком пикник: он наливал воду из бутылки в кружку, готовил бутерброды и угощал ими свою невесту. Такую мизансцену мы засняли на пока ещё зелёной траве в лучах уже негреющего солнца. А сейчас, вечером на бульваре он по моей задумке должен был рассказать, как потерял руки.

Я, конечно, знала, как. Он был файерщиком, готовился к огненному шоу, и так случилось, что канистра с горючей жидкостью взорвалась прямо у него в руках.

И вот я стою на этом прекрасном московском бульваре, мёрзну, жду, когда мой герой подойдёт на интервью, смотрю, как съёмочная группа готовится, ребята из московского файер-клуба репетируют номер, и никак не могу понять — зачем я придумала эту сцену? Ведь она ужасна по отношению к герою.

Хотя нет — знаю: ради живых эмоций. Я думала так: поставим этого парня на фоне файерщиков, он начнёт вспоминать, расчувствуется, и я смогу получить его реакцию в кадре. Может быть, он расплачется или у него хотя бы взмокут глаза...

Но зачем эта трагедия в программе о технологиях?!

Нужна. Без ярких переживаний история не сработает, зритель не остановит свой взгляд на программе, когда будет переключать каналы. Я прекрасно понимаю, насколько это может быть тяжело для Никиты. Если бы сейчас воспроизвели травматичную ситуацию из моей жизни, то я бы заби-лась в истерическом припадке прямо тут, на асфальте. И всё равно я ставлю его рядом с файерщиками, операторы включают камеры, я говорю:

— А теперь расскажи, что ты чувствуешь, когда стоишь здесь и вспоми-наешь, как потерял руки?

Элеонора сморщила нос и отставила кружку с допитым кофе. Без уко-ра, с искренним любопытством она спросила:

— Зачем же ты всё-таки это сделала?

— Как я и сказала — ради эфира. Точнее, ради трёх секунд в эфире. Хотя я понимаю, что их никто даже не запомнил. Они врезались в память только мне. Тяжёлым чувством вины.